

Владимир Короленко

В облачный день
(Очерки #0)

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0011
III.....	.0020
IV.....	.0034
VI.....	.0050
VII.....	.0076

Владимир Короленко

В облачный день

Был знойный летний день 1892 года. В высокой синеве тянулись причудливые ключья рыхлого белого тумана. В зените они неизменно замедляли ход и тихо таяли, как бы умирая от знойной истомы в раскаленном воздухе. Между тем кругом над чертой горизонта толпились, громоздясь друг на друга, кудрявые облака, а кое-где пали как будто синие полосы отдаленных дождей. Но они стояли недолго, сквозили, исчезали, чтобы пасть где-нибудь в другом месте и так же быстро исчезнуть...

Казалось, у облачного неба не хватило решимости и силы, чтобы пролиться на землю... Тучи набирались, надумывались, тихо разворачивались и охватывали кольцом равнину, на которой зной царил все-таки во всей томительной силе; а солнце, начавшее склоняться к горизонту, пронизывало косыми лучами всю эту причудливую мгlistую панораму, усиливая в ней смену света и теней, при-

давая какую-то фантастическую жизнь молчаливому движению в горячем небе... Во всем чувствовалось ожидание, напряжение, какие-то приготовления, какая-то тяжелая борьба. Туманная рать темнела и сгущалась внизу, выделяя легкие белые облачка, которые быстро неслись к середине неба и неизменно сторали в зените, а земля все ждала дождя и влаги, ждала томительно и напрасно...

По тракту лениво прозвонил колокольчик и смолк. Потом неожиданно заболтался сильнее, и с холма меж рядами старых берез покатился в клубке белой пыли тарантас с порыжелым кожаным верхом, запряженный тройкой почтовых лошадей. Вокруг тарантаса моталась плотная пыль, лошадей густо облепили слепни и овода, увязавшиеся за ними от самой станции. От станции же путников сопровождал печальный и сухой шелест усыхающих нив. Роясь тихо качалась, шуршала и будто жаловалась впросонках на этот зной и на эти раздражающие туманные грезы, залегающие на горизонте обманчивыми признаками дождей...

Было скучно. В густой листве придорож-

ных берез шевелились порой какие-то вздохи, а из села, колокольня которого осталась позади, за холмом, слышался редкий, надтреснутый звон.

— Осокинцы молебствуют, — сказал, ни к кому не обращаясь, ямщик. — Беда ведь: жар да сухмень... Гнев господень... Икону подняли, — что-то господь даст. Эх, вот прежде поп у них был, Василий. Насчет чего прочего не больно дохваляли, а что касаясь дождя, — ну, дошлый был! Как, бывало, пройдет по межам, даром что пьяненький, шатается, — отколь и возьметса, братец мой, туча... И отколь тебе ни возьметса туча...

Никто не ответил, и ямщик смолк. На меже действительно мелькали ризы сельского причта, почерневшая парча двух хоругвей болталась в ясном воздухе, и пение незатейливого клира носилось какими-то обрывками. Раскатится густая диаконская октава и рассыплется горошком где-то совсем близко, смешавшись с шелестом ржи, между тем как высокая фистула дьячка беспокойно летает над березами и будто мечется, и кого-то ищет, и зовет кого-то напрасно. Потом все стихнет,

и весь пейзаж опять безысходно томится и будто еще усиленнее чувствует тяжесть бытия. А неподвижный воздух опять густо насыщен ожиданием и смутными, раздражающими грезами...

Вместе с пылью и слепнями это ощущение безнадежной тоски нависло, очевидно, и над тарантасом, тихо катившимся по тракту. Коренник лениво месил ногами, пристяжки роняли морды чуть не в самую пыль дороги, тарантас расслабленно дребезжал плохо пригнанными частями, ямщик видимо придирался к одной пристяжке, наделял ее по временам язвительными эпитетами самого оскорбительного свойства.

Впрочем, если кто еще не вполне поддался расслабляющему влиянию этого томительно-го дня, то это именно ямщик. Это был человек небольшого роста и довольно невзрачный в своем порыжелом кафтане и в шляпенке неизвестного происхождения, неопределенной формы и цвета. Нос у него был несколько набекрень, бороденка выгорела от солнца, но глаза, синие и глубокие, глядели живо, умно и несколько мечтательно...

Это была личность, популярная по тракту, и кому часто доводилось ездить этими местами, тот непременно замечал и помнил Кривоносого Силуяна, с его синими глазами, глубоким голосом и бесконечными рассказами. Были седоки, которые, приезжая на станцию, спрашивали у содержателя: «А что, Силуян тут?» — «Балагур, — говорили про него другие ямщики. — С ним, конечно, седоку не скучно». Зато и сам Силуян любил седока внимательного, бывалого и разговорчивого. Он умел говорить, но любил и послушать. Он охотно отдавал дороге все, что накопил в памяти. Но и дорога, в свою очередь, наделяла Силуяна такими сведениями, которые только и можно подхватить на бойком тракту от проезжего, бывалого и видалого человека. В таких случаях Силуян жадно прислушивался, повернувшись с облучка назад, а потом, возвращаясь на обратной один, легкой рысцей, в сумерки или темною ночью, когда чуть видные березы глухо шумели вдоль темного тракта, — он перебирал в уме слышанное за день. А так как в душе он поэт, наделенный беспокойным и подвижным воображением, к

тому же темные ночи, звон колокольчика и шум ветра в березах отражаются по-своему на работе ямщицкой памяти, — то не мудрено, что уже через неделю-другую сам проезжий рассказчик мог бы выслушать от Силуяна свой собственный рассказ как очень интересную новость... И ему не удалось бы даже убедить Силуяна, что это он, проезжий, сам и рассказывал ему, только совсем иначе. Силуян повернется, посмотрит и покачает головой.

— Нет, то был другой и личность другая.

И действительно, то был другой, потому что темные ночи и ямщицкая память совершенно преображали человека, неизвестно откуда приехавшего и неизвестно куда ускакавшего по тракту в неведомый свет, — преображали до такой степени, что и фигура, и лицо, и голос, и самый рассказ подергивались особым налетом ямщицкой фантазии... Так рождалось на А-ском тракту много былин, а так как их некому было записывать, то они тут же на тракту и умирали, если, впрочем, исправник Полежаев, большой любитель рассказов Силуяна, не повторял их где-нибудь в

грязном номере уездной гостиницы перед скучающей уездной публикой...

— Да ты, Силуян, смотри, не все болтай зря, — говорил иногда исправник. — Как бы иной раз и не того... и не нагорело за твои сказки...

— Убей меня бог, Степан Митрич, — отвечал Силуян с убеждением и совершенно искренно. — От проезжего барина слышал, от генерала. Чай, не станет врать...

Вообще много странного можно было услышать о белом свете от ямщика Силуяна, обычно знавшего, впрочем, каждый пенек на А-ском тракте.

Теперь он был слегка раздражен и недоволен. Изменчивые облака (овес сохнет!), жар, слепни, лукавство пристяжки, которая все норовит «обмануть» его, но самое неприятное — молчаливые, разваренные седоки... Их двое: молодая девушка и пожилой барин. Барин сидит совсем осовелый и клюет носом. Ямщик давно махнул на него рукой и все внимание обратил на девушку. Но та сначала забилась в угол тарантаса и все глядела в одном направлении упрямо и жадно, не видя ничего в отдельности и только поглощая глазами синюю даль. Потом она заснула, не переменив положения: белокурая головка беспомощно моталась на жесткой коже тарантаса, платок с головы съехал назад, волосы сбились, а на лице блуждало странное выражение, как будто и во сне она глядела на что-то вдали и старается что-то угадать.

Силуяну стало жаль ее, и он поехал тише, но пристяжка воспользовалась его снисходи-

тельностью до такой степени нагло, что он не выдержал и резко вытянул ее кнутом. Недобросовестный конь дернул сразу, тарантас охнул, и девушка проснулась.

— И подлый же конь этот, — сказал ямщик виновато, указывая на пристяжку кнутом. — Коренная, например, старается, без облыни, а этому подлецу только бы оммануть. Вот, воо-о-т, во-ат, гляди на него, на ш-шельму.

Кнут несколько раз взвизгнул в воздухе и шлепнул по мокрым бокам коня. После этого пристяжка, казалось, поняла цену добродетели, и ямщик успокоился. Он поглядел на небо и, широко взмахнувши по воздуху кнутовищем, как бы погоняя тучи, сказал:

— Облака-те набираются все. Не даст ли господи милости хресьянам... Айда, айда к нам, на Липоватку.

Он остановился с ожиданием. Теперь по-настоящему седокам следовало бы спросить: «А ты сам разве из Липоватки?»

И он бы тотчас ответил:

— Ну! Из Липоватки, из самой! Липоватовых господ, может, слыхали? Богатеющее

имение было.

Да тут же, кстати, спросил бы и сам:

— А вы чьи будете, из какой стороны? Не видывали мы вас что-то, здешние-то господа у нас на примете.

Он жадно насторожился, но никто ничего ему не ответил. Господин по-прежнему тускло глядел вперед и тихонько потряхивался на сидении («точно мешок с мякиной», — сказал про себя ямщик), а барышня опять уставилась глазами на дальнюю рощу, грузно и сине легшую по «вершинке», на фоне желтой нивы.

Ямщик досадливо поправился на облучке, уселся плотнее и обратился к березам, которые что-то зашептали ему, как старому знакомому, будто приглашая к беседе с ними, вместо неприветливых седоков.

— И-эх березыньки!.. — любовно протянул он нараспев, и тихая песня понеслась среди мертвого жужжания оводов. Он пел приятной фистулой, обладавшей общим свойством ямщицких голосов: песня звучала будто откуда-то издалека, точно ветер наносил ее с поля.

И э-э-эх-да-э-эх... Да Аракчеев господин...

Да Аракчее-е...

Так как лукавый пристяжной конь видимо замедлил ход, чтобы лучше слышать пение хозяина, то ямщик опять резко вытянул его по заду, — а песня не прерывалась, будто в самом деле ее пел кто-то другой, в стороне. Она тягуче и тихо, но как-то особенно плотно и грустно лилась нота за нотой... Есть что-то особенное в этих ямщицких песнях, которые поются вполголоса на облучке под топот копыт и монотонное позванивание колокольчика. Не удаль и не тоска, а что-то неопределенное, точно во сне встают воспоминания о прошлом, странном и близком душе, увлекательном и полузабытом... Барышня шевельнула бровями.

Да Аракчеев-господин,

Да ен всеё дороженьку березкой усадил...

Воспоминание становилось определеннее. Слова выходили из звучного жужжания ясные, с понятным смыслом. Барышня совсем оторвала глаза от рожи, и господин переставал безжизненно встряхиваться на своем сидении.

Да он тебя, дороженька, березкой усадил...

Да всё Расеюшку в разор разорил!..

И-э-э-эх, моя березынька, дороженька
моя...

Последний стих прозвенел и потерялся в воздухе, покрытый явно сочувственным шорохом берез, шевеливших на легком ветру нависшими ветками. Ямщик, казалось, забыл уже о седоках, и через минуту песня опять тянулась, отвечая шороху деревьев:

И-й-эх, моя березынька, дороженька моя...

И-й-эх, ты, мать Расеюшка, хресьянская земля...

Да э-эх, Ракчеив наш, Ракчеив-генерал,

На тую ль на дороженьку... хресьян выгоял...

Да й-э-э-эх...

Шепот деревьев, шорох хлебов, звон колокольчика, и опять песня.

Тая ли дороженька-а-а да кровью полита!..

Вместе с определенностью мотива определялось и выражение на лицах седоков. Лицо молодой девушки стало печально, глаза округлились. Это заметил проснувшийся господин и сказал с неудовольствием:

— Ну, ты! Что такое, — распелся! — гово-

рил он слегка дребезжащим голосом, в котором силилась пробиться какая-то твердая нота.

Ямщик невольно оглянулся. Седок уже не встряхивался, а сидел «своей волей», нахмурив брови, и на лбу его ямщику только теперь резко кинулась в глаза кокарда. «Должно — начальство новое», — подумал Силуян, обрывая песню, и обиженно задергал вожжами.

Но в голове его шевелились вольные мысли:

«Ишь ведь, прости господи, идол навязался! Не важивали мы начальников, что ли? Вон Полежаев, исправник, или опять Талызин, Василь Семеныч, даром што генерал полный, а, бывало, подавай ему Силуяна, с другим, говорит, и не поеду...»

Эти воспоминания ободрили ямщика, и он прибавил вслух:

— Низвините, ваше благородие, — песня такая поется старинная, про Ракчеива, значит.

— То-то песня, — брезгливо и как-то слегка в нос сказал седок. Он, видимо, старался говорить строго, но твердая нота все не налажива-

лась. — Песня! Песни тоже всякие бывают...

Впрочем, лицо его опять начало расплываться, обрюзгло, и туловище опять пассивно поддалось влиянию тарантаса: господин опять стал потряхиваться, а глаза его потускнели. Из опасения, что разговор, хотя несколько неприятный, угаснет, ямщик прибавил раздумчиво, после короткой паузы:

— Ракчеив... Стало быть, помещик был в нашей стороне. Годов, сказывают, со сто, а то, может, и всех два-ста будет. Важнеющий был генерал у царицы, у Екатерины.

Господин слегка очнулся.

— То-то вот! — все еще несколько сонным голосом ответил он. — «Два-ста»... У Екатерины... в вашей стороне! Ничего-то вы, мужики, толком не знате, а туда же, «в разор разорил»... Распустились!

— Песня, господин, она, как сказать... — возразил Силуян, — она ведь исстари идет... От народу взялась... Старинная это песня... Ежели ее голосом настояще вывести...

— Ну-ну! Будет уж, не выводите! Слыхали.

— Как угодно! — Ямщик окончательно обиделся.

— Что ты это, папочка, отчего? — спросила девушка. Она, казалось, не сразу вслушалась в содержание разговора и только задумчиво ждала продолжения песни. Когда все смолкло и продолжения не было, — она только тогда поняла причину.

— Ах, Леночка, — ответил господин, — ты этого не можешь понять. Это не Петербург, и здесь я не могу смотреть на себя, как...

— Как на что? — лениво спросила дочь.

— Как... на частного человека! Пожалуйста, Лена, не вмешивайся в мои... распоряжения.

— Не буду, папочка, — так же лениво обещала девушка.

Ямщик излил свои ощущения усиленной игрой на вожжах и усердным употреблением кнута. Однако чуткое ухо уловило кое-что в разговоре. «Вишь ты, — подумал он, — начальник и есть. Строг, а, кажись, отходчив. Ну, да мне-ка что! Наше дело ямщицкое!»

Опять наступила тишина и дорожное томление. Барышня смотрела вдаль, господин потряхивался и ритмически покачивался на сидении, а глаза его, все еще открытые, стали

так тусклы, как будто на них надела пыль. Колокольчик бился, взвизгивал и подвывал какому-то своему неисходному горю. Потом он всем надоед, прислушался и сразу исчез из слуха и сознания. Зато в тишине полей ожидало какое-то тревожное, пугливое трепетание, и порой чудилось, что диаконский бас, давно оставленный назади, опять увязался с тучами оводов за тарантасом и все догоняет и сыплется по сторонам горошком.

Но это был только слуховой призрак, вставший среди чуткой атмосферы, наэлектризованной томлением и испугом иссыхающей земли...

В голове пожилого господина бродили мысли, призрачные, как эти мгlistые тучи... Обрывки прошлого, обрывки настоящего и туманная мгла впереди. Все громоздилось в голове, покрывало друг друга. Общий фон был неясен, зато отдельные мысли выступали порой так раздражительно ярко, что однажды он сказал громко:

— Да... вот... А теперь что же мы видим?..

— Ничего, ничего, Лена, — застыдившись, ответил он тотчас же на вопросительный взгляд девушки. — Я подумал... о прошлом...

Действительно, он думал о прошлом, и призраки его молодости тянулись к нему невидимыми руками от этого истомившегося простора. Тарантас тихо тарахтит по пыльной дороге, а Семен Афанасьевич Липоватов видит себя юным помещиком... Когда н-ское дворянство, первое из великорусских, обратилось с известным адресом об эмансипации, имя Семена Афанасьевича стояло под этим

адресом. Как это все было... как бы сказать... блестяще, что ли!.. Подъем духа, разговоры, ожидания, тревоги... Казалось, будто вся жизнь поворачивала куда-то на новую дорогу и гремела, и сверкала на этом повороте. Почему теперь так не блестит уже ничего в жизни? Потом, когда виднейшие дворяне, спохватившись, начали горячую борьбу «за интересы сословия» и подали контрадрес, — имя Семена Афанасьевича каким-то образом очутилось и на контрадресе. Странно, — но и тут опять было что-то блестящее, что-то кипучее и особенное, окрашенное колоритом того времени...

И какого времени!.. Какой энтузиазм, какие речи, какой пыл, какая самоуверенность, какие надежды! Где теперь все это, — то есть даже не эти факты, а этот особенный тон жизни, этот аромат бытия? Казалось, по всему лицу русской земли были расставлены какие-то особые рефлекторы и резонаторы, придававшие силу каждому звуку, сияние каждому явлению. Неужели это только молодость? Нет, старики тогда тоже становились молодыми, вот что удивительно... Вдруг прославится

смоленское дворянство! Вдруг лукояновское общество сельского хозяйства открывает новые горизонты! Вот Семен Афанасьевич подписался под одним адресом — и его имя передается из края в край, становится достоянием даже заграничной прессы. Блеск, гул, сверканье! Но разве не было блеска и в этом протесте нотаблей против эмансипации, в этом столкновении «знамени освобождения» со «старыми дворянскими традициями»... И опять его имя становится достоянием прессы, и опять его приветствуют, — только уже с другой стороны... А там опять восторги и ожидания, потом земство, новые суды, egalite!.. [равенство (франц.).

] Вот тут-то, когда воспоминания дошли до этого пункта, — у Семена Афанасьевича и вырвалось восклицание:

— Да! а теперь... Что же мы видим?

— Поле, папочка, и мостик, — ласково улыбнулась дочь.

Семен Афанасьевич вздохнул и оглянулся... Да, поле, дорога, березки, и стая ворон кружится над колеблющейся рожью. Должно быть, во ржи они заметили умирающего зай-

ца или подстреленную птицу...

А между этим ярким и далеким прошлым и этим уголком дороги — целая полоса...

Что это было, как было? Выкупную сделку взял на себя старший брат, человек суровый и не скрывавший своего презрения к либеральным увлечениям Сенечки. Семен Афанасьевич только слышал о каких-то замешательствах и столкновениях брата с крестьянами, потом все как-то уладилось, потом получены выкупные, потом Семен Афанасьевич дрался на дуэли из-за m-lle Стратилатовой, первой красавицы в губернии, дочери его соседа по имению. Он был ранен (легко), потом женился, потом уехал за границу. Выкупные таяли быстро, брат писал нравоучения («помни, что ты истощаешь жизненные нервы будущего хозяйства»), и Семен Афанасьевич вернулся в Петербург. Это было время оживления промышленности, железнодорожная горячка, хорошие дворянские имена ценились и котировались бойко. Семен Афанасьевич опять увлекся. Заседания, речи, надежды, сближение с этими замечательными истинно русскими людьми, прицепляв-

шими звезды поверх синих кафтанов или прятавшими их под окладистыми бородами, акции, облигации, борьба в собраниях, обеды и спичи, в которых Семен Афанасьевич обнаруживал недюжинный талант и упоительное красноречие... В результате он два раза был близок к обогащению, три раза разорялся, один раз получил наследство (после умершего брата), и все это как-то пассивно, как будто все это делали за него другие. Да, пожалуй, оно так и было. «Русские человеки» выплывали, — поднимался с ними и Семен Афанасьевич; русские человеки утопали в пучине какого-нибудь краха, — утопал и Семен Афанасьевич. А иногда, и даже чаще, бывало и так: они выплывают, а Семен Афанасьевич утопает. В это время умерла жена, кротко выносившая все увлечения мужа. У ее роскошного гроба Семен Афанасьевич в первый раз почувствовал, как у него тягуче и сильно сжалось сердце, и в первый еще раз, оглянувшись назад, на свою молодую любовь, на свои клятвы и на эту исчезнувшую жизнь, которой он никогда уже не в состоянии вернуть иллюзию счастья, предложил себе этот вопрос, ко-

торый потом все чаще и чаще вырывался у него как-то механически, порой совершенно неожиданно и нередко вслух — в минуты раздумья:

— А теперь... что же мы видим?..

Дорога, поле, шелест листьев, легкий звон придорожного телеграфа... Жизнь все более тускнела и как-то даже пачкалась. Резонаторы убраны, блеск исчез, и даже застольные спичи на железнодорожных торжествах потеряли былую поэзию. Он чувствовал, что жизнь начинает мчаться мимо, как поезд, на который он не успел вскочить вовремя, заболтавшись на станции. Дела становились все мельче, «хорошие имена» теряли цену, нужны были «хорошие связи», а он как-то растерял их одну за другой. Появилась седина, обрюзглость... подошла старость, и Семену Афанасьевичу захотелось куда-то «домой», для покоя и отдыха...

В это именно время подоспела новая реформа, и Семена Афанасьевича озарило новое откровение. Да, это как раз то, что нужно. Пора домой, к земле, к народу, который мы слишком долго оставляли в жертву различин-

ных проходимцев и хищников, Семен Афанасьевич навел справки о своем имении, о сроках аренды, о залогах, кое-кому написал, кое-кому напомнил о себе... И вот его «призвали к новой работе на старом пепелище»... Ничто не удерживало в столице, и Семен Афанасьевич появился в губернии.

Здесь его встретили радушно. Губернатор пожимал руки, губернский предводитель обнимал, молодежь толпилась в номере, поглядывая на хорошенькую дочь и поздравляя отца с «возвращением к настоящей живой работе». Семен Афанасьевич кланялся, благодарил, говорил, что он тронут, даже пролил слезу и начинал искренно увлекаться. Как старый боевой конь, он почувствовал, что тут где-то, вероятно, опять начнется какое-то оживление, откроются горизонты, пойдут обеды и речи. Но первое же собрание в губернаторском доме, в котором он принял участие в своем новом мундире, его как будто несколько озадачило и разочаровало. Было холодно, тускло, неопределенно... Здесь, между прочим, к нему подошел старый, седой господин, его сверстник и друг его юности...

— Василий?

— Семен?

Они взялись за руки и посмотрели друг другу в глаза...

— Неужели это ты?..

— Как видишь.

Встреча выходила какая-то унылая. Первый, впрочем, отряхнулся Семен Афанасьевич. Он был человек нервный и притом долго жил в Петербурге, где есть слова на все случаи жизни.

— Узнаю моего Василия. Седые волосы, правда, «Но и под снегом иногда бежит кипучая вода»[1]. Не правда ли: где благородное дело, там и ты!

— Узнаю и тебя, ты не забыл стихов...

— Итак, ты с нами... Меня очень интересовал вопрос, как ты отнесешься к реформе?

Старый господин, повинный некогда в ярком либерализме, ответил уклончиво:

— Хочется все-таки хоть что-нибудь делать.

— Что-нибудь! Да ведь тут работы непочатый угол. Не правда ли, вспоминаются молодые годы? Посмотри на эту молодежь. В свое

время мы так же окружали наших стариков. У меня кровь начинает быстрее обращаться в жилах (глаза его действительно начинали слегка сверкать). Ну, скажи, какие тут у вас возникают проекты, вопросы...

Седой господин смотрел устало и грустно.

— Вопросы? Как тебе сказать. Вот сегодня в заседании обсуждался вопрос о смурыгинских березках.

— Березках?

— Ну да! Молодой земской начальник Смурьгин для блага вверенного участка приказал с первых же дней обсадить березками все проселочные дороги.

— Да? Вот что?.. березками... А знаешь, ведь это хорошо. Это, конечно, не «широкие задачи», в этом нет полета, но прямая практическая польза... нельзя отрицать и этого, мой старый друг.

— Про-се-лочные — пойми! — с удивлением глядя ему в глаза, повторил седой господин. — Ты, кажется, забыл совсем условия деревенской жизни.

Семен Афанасьевич смутился. Он действительно не вполне ясно представляя себе, в

чем дело, но уверенный тон старого товарища сбил его с толку.

— Про-селочные! Да, конечно, это крайность... Но молодость — всегда молодость... Ведь и мы увлекались в свое время. Почему ты не хочешь признать за молодым поколением?..

— Чего?

— Права на увлечение...

— Да, ты вот о чем!.. Посмотри вон туда, у портрета... Группа молодых людей, и в центре... Узнаешь ты этого господина?..

— В очках... густые волосы с проседью?..

— Да. Это известный Заливной.

— А! — ответил Семен Афанасьевич. — Я его лично не знал... это было уже после меня, но как же, помню по газетам!.. Радикал, энтузиаст... Ведь это он требовал когда-то фортепиано для школ? Крайность, конечно, но... крайность, согласишься сам, симпатичная... И если теперь он внесет свой энтузиазм...

— Внес уже, — ответил Василий Иванович. — Теперь он требует полного закрытия школ...

Семен Афанасьевич заморгал от неужи-

данности и растерянно посмотрел на приятеля.

— Ты шутишь... Как же это... то есть я хочу вам сказать: как примирить...

— А очень просто... отстал ты от духа времени. Есть, брат, такие субъекты... Наш генерал — он у нас большой шутник — называет их породой восторженных кобелей... Видел ты, как порой резвый кобель выходит с хозяином на прогулку? Хозяин только еще двинулся влево, и уже у кобеля хвост колечком, и он летит за версту вперед... Зато — стоит хозяину повернуть обратно, — и кобель уже заскакивает в новом направлении...

— Ха-ха! Резко, но остроумно... Действительно смешная крайность...

— Крайность, конечно, но вовсе не смешная. Земству теперь едва удастся отстоять свои школы от резвого натиска... Да, брат, вот тебе и увлечение. Прежде мы смеялись над фортепиано, но жизнь шла к просвещению, к равноправию, к законности...

— А теперь?

Василий Иванович посмотрел на Семена Афанасьевича своим умным и несколько пе-

чальным взглядом и ответил задумчиво:

— И теперь жизнь... идет к тому же... Но мы-то идем ли с нею?.. вот вопрос...

— И с такими взглядами, — растерянно спросил Семен Афанасьевич, — ты все-таки... пошел?..

— Пошел, брат... Двадцать лет я был мировым судьей в своем участке... И мне не хотелось, чтобы тут же... у меня... на моей ниве Смурыгин насаждал свои березки или Заливной закрывал мои школы...

— До этого не дойдет! — сказал Семен Афанасьевич горячо.

— Может быть... — вяло ответил седой господин и отвернулся. А в это время к ним подошел губернатор и опять стал пожимать руки Семена Афанасьевича и поздравлять с «возвращением к земле, к настоящей работе»... Но умные глаза генерала смотрели пылливо и насмешливо. Семен Афанасьевич немного робел под этим взглядом. Он чувствовал, что под влиянием разговора с приятелем юности мысли его как-то рассеялись, красивые слова увяли, и он остался без обычного оружия...

И он чуть было не выпалил прямо в лицо подошедшему:

— Да, вот... А теперь, — что же мы видим?

Поле, дорога, звон проволоки, зной и обрывки ленивых мыслей тянутся, как облака, друг за другом... Путаются, сливаются. Опять прошлое, потом туман, из которого выплывает кусок тракта, обсаженного березками. Плотное заросло травой, пыльная узкая лента как-то осторожно жметя то к одной стороне, то к другой, — видно, что весной здесь езда самая горькая... И в уме Семена Афанасьевича возникает вдруг четверостишие старого «земского поэта»:

Земство, с нас налоги
Ты дерешь безбожно;
Почини ж дороги;
Ездить невозможно...

Он долго повторяет стихи под стук колес и потряхивание тарантаса. К этому времени тарантас тихонько спускается в дол и стучит по мосту, а мысль седока так же тихо переползает дальше.

«Мост новый, вообще мосты, кажется, стали лучше, а все-таки! Земство, земство! Кри-

чали, горячились. Между тем, что же из этого вышло?.. Мосты лучше, и только. Нельзя же, в самом деле, все одни мосты да мосты! Нужно что-нибудь живое. Школы еще? Народное образование?.. Да-а... конечно, нельзя не отдать справедливость... Но, однако... вот Заливной против школы. Это странно, разумеется, но если хорошенько подумать... Это тоже своего рода течение... Что такое эта земская школа? Полузнание, а ведь в самом деле полузнание хуже незнания... Да, да, возможна и та точка зрения, возможна, возможна... А кто бы мог подумать это, когда сам Заливной требовал фортепиано... Да, скучная эта дорога, когда она кончится?.. Опять мосток... Скоро ли станция?.. Да, вот... что же из всего этого вышло?»

Летят облака, шуршат колеса, старый господин начинает потряхиваться, точно мешок с мякиной, его глаза закрываются...

Старый господин засыпает...

IV

Девушка не спит, и у нее в голове свои мысли.

Она — одна дочь у отца. Как цветок из семени, занесенного вихрем на чуждую почву, — она как-то неожиданно для рассеянного Семена Афанасьевича родилась в швейцарском отеле, первые годы жизни провела за границей, потом попала в отель на Малой Морской, откуда ее мать вынесли в белом гробу, чтобы увезти на кладбище в деревню. После этого девочка росла у бабушки в Финляндии, и это было самое счастливое время ее жизни. За этим она вспоминает скучные годы и казенные дортуары института, а потом, — так как бабушка умерла, — несколько лет с отцом. Это было самое тяжелое время ее жизни.

Молиться учила ее старая няня Анфиса, выносившая еще ее мать. Она складывала ей пальчики для крестного знамения еще там, в швейцарском отеле; на Малой Морской она

выучила ее «Богородице» и заупокойной молитве по матери, которую научила любить и помнить... В то время как подруги предавались обожанию учителей, Лена Липоватова лелеяла в душе культ умершей матери. Это было настоящее обожание, мечтательное, страстное, полное грусти и какой-то странной надежды. Она выучилась рисовать, чтобы рисовать портреты матери, она с захватывающим интересом читала старые повести и романы, где изображался быт того времени, когда жила ее мать, та обстановка, в которой проходили ее молодые годы. Это были не всегда хорошие романы, но она читала между строк, и на нее веяло с пожелтевших страниц особенной поэзией дворянской усадьбы, жизни среди полей, среди народа, доброго, покорного, любящего, как ее старая няня... среди мечтательного ожидания... И в то самое время, когда ее отец собирал у себя несколько сомнительное «блестящее» общество, — девушка забивалась со старой няней в дальние комнаты и под жужжание речей и тостов, доносившихся сквозь стены, слушала старые седые предания о тех годах, когда мать ее бега-

ла по аллеям старого барского дома, окруженная, как сказочная царевна, заботами нянек и мамок... У нее не было для сравнения ничего, кроме отелей и института, — она принадлежала к поколению, родившемуся после исхода из Египта и не достигшему никакой обетованной земли, росла в случайной обстановке, совершенно лишенная в действительности того, что мы называем «средой». Мудрено ли, что она создавала себе среду в юном воображении из обрывков воспоминаний о матери, получаемых от старой няни.

Молодость романтична... А что может быть романтичнее исчезнувшей старины, которая была настоящим для наших матерей и отцов. Девушка жадно слушала, как шамкали старые нянины губы о ее красавице маме, которую унесли в белом гробу из противного петербургского отеля в родную деревню... И прошлое вставало перед ней с какой-то манящей прелестью, то прошлое, когда в усадьбах вырастали заколдованные царевны, ждавшие своих героев, когда в них жили блестящие господа, когда они съезжались в прекрасных домах, окруженных парками... В парках звон-

ко гудят рога, появляются и исчезают блестящие тени, сверкают глаза... Любят, страдают, вздыхают, дерутся на дуэлях (как некогда отец... когда он был совсем другим). Порой ей казалось, что она видит все это: так живо действовали эти рассказы... Белая стена дома, темная, мечтательная зелень деревьев, по которым любовно скользят серебристые лучи месяца, красноватые снопы света из окон, причудливая балюстрада балкона, заглушенные звуки штраусовского вальса. Дверь открывается, в фантастическом двойном освещении появляется «она», ее мама, а может быть... и она сама... Она глубоко вдыхает в себя ароматный воздух ночи, а около нее сидит ее избранник, такой, каким проезжий живописец изобразил отца на юном портрете масляными красками... Мечтательные глаза, мягкие усы колечком, стройный стан, и что-то фантастическое перекинуто через левое плечо.

Лена очень обрадовалась, узнав, что теперь подошла новая реформа и ее отца зовут опять туда, где родилась, где жила, где любила ее мать, где она лежит в могиле... Лена ду-

мала, что она тоже будет жить там и после долгих лет, в которых, как в синей мреющей дали, мелькало что-то таинственное, как облако, яркое, как зарница, — ляжет рядом с матерью. Она дала слово умиравшей на Песках няне, что непременно привезет горсточку родной земли на ее могилу на Волковом кладбище.

В это время в Петербурге давали драму, в которой чуткий к современным веяниям драматург вывел нового героя — «молодого земского начальника». Над драмой смеялись, но Лена приехала домой в опьянении. Герой приезжает из недр деревни, чтобы отыскать в Петербурге правду для обиженного «народа». Они были крепостные его отцов, холодный, суровый закон против них, — но он, благородный сын благородных родителей, повинувшись лишь указаниям благородного сердца, поклялся защитить их во что бы то ни стало от сурового закона, которым всегда пользуются дурные люди. С этой целью он обивает пороги «высокопоставленных лиц», ходит по канцеляриям, заводит нужные знакомства и даже в бальной зале, под звуки оркестра, выде-

лытая ногами изящные па кадрили и красиво перегибая тонкий стан в изящном фраке, он говорит «ей», уже любимой, о них, о бедном, добром, страдающем народе...

Она вернулась домой влюбленная. В кого? Конечно, не в актера, исполнявшего благородную роль, а в свою мечту об этом герое, воплотившем для нее все то неясное, что рисовалось ей назади, в этом романтическом прошлом. И когда ее кузен, либерал и скептик, позволил себе посмеяться над пьесой и над романтическими мечтами Лены, она спорила долго, горячо, чуть не до слез.

— Вы не знаете, — закончила она. — Сам народ думает так же... Жаль, что вы не знали мою няню...

И вот она с отцом в губернском городе, где его задержали какие то хлопоты по утверждению в должности и еще что-то такое неприятное в банке. Грязный номер грязной гостиницы, скука и непонятные разговоры. Порой к отцу собирались его старые знакомые, порой приходили новые сослуживцы, толковали о статьях, о положении, о размере прав и обязанностей, о жаловании и разъездных, о сму-

рыгинских березках. О последних говорили так много, что Лена заинтересовалась самим Смурьгиным. Впрочем, она была разочарована, когда отец представил ей «нашего молодого деятеля». Он был тощ, со впалыми щеками и впалой грудью, с тонкими ногами, которыми все как-то сучил, даже стоя на месте. За обедом он сказал речь, которую начал, обращаясь к Семену Афанасьевичу, словами:

— Ма-адое поколение, Семен Афанасьевич...

Он говорил еще что-то, потом чокался с Леной, но она ответила ему с непонятной для нее самой холодностью. Как будто этот господин претендовал на что-то такое, чего Лена инстинктивно ему не уступала. Нет, наверное, там, на месте, найдутся еще другие... Они окружают ее отца, они будут все вместе советовать, как помочь доброму народу, как защитить его от сурового закона и злых людей... И папа никогда уже не будет возвращаться домой усталый и немного неприличный, как это бывало после этих противных «деловых» обедов и ужинов в петербургских ресторанах.

И вот она едет и жадно вглядывается в

даль и ищет: где же эти таинственные «усадыбы» и парки, где эта обетованная земля, на которой воочию предстанет перед ней мечта ее жизни... Поля, колокольчики, порой засинеет лесок, облака двигаются бесшумно, с какой-то важной думой, а отец, вздрагивая, спрашивает:

— Да. А теперь — что же мы видим?..

V

Дороге, казалось, не будет конца. Лошади больше махали головами по сторонам, чем бежали вперед. Солнце сильно склонилось, но жар не унимался. Земля была точно недавно вытопленная печь. Колокольчик то начинал биться под дугой, как бешеный и потерявший всякое терпение, то лишь взвизгивал и шипел. На небе продолжалось молчаливое передвижение облаков, по земле пробегали неуловимые тени.

Тарантас взобрался на пригорок, скатился с него, застучал колесами по гулкому мостику. Теперь у самой дороги, взрытой до горизонта, как бархат, лежал черный пар. Недопаханные, лишь кое-где зеленели еще узкие полоски. Одна из них подходила к дороге, но и

она становилась все уже: на ней вихлялись за сохами две серые, лохматые и запыленные мужицкие фигуры. Один из пахарей удалялся, наискосок от тракта, другой подходил к проселку, лицом к нашим путникам. Его лошадь, надсаживаясь, дотягивала борозду, а пахарь внимательно поглядывал вперед.

Вдруг лошадь стала выходить из борозды: прямо перед ее мордой оказалось небольшое, тощее, очевидно недавно посаженное деревцо, с верхушкой, уже наполовину увядшей. Пахарь дернул вожжой, придержал соху, деревцо втянулось под гуж, изогнулось, попробовало вынырнуть меж оглоблей и вдруг сиротливо свалилось, подрезанное железом. Еще около сажени тянулось оно, зацепившись веткой, наконец осталось на пыльной пашне. Мужик оттолкнул его лаптем и стал вытряхивать лемех.

Силуян, с любопытством глядевший на все это, придержал лошадей.

— Ты что ж это, дядя... больно смело ее выволок? — сказал он с какой-то особенной нотой в голосе. — Ай отменили?

Мужик поднял кверху красное потное ли-

цо и усмехнулся... Но, увидев на проезжем ба-
рине кокарду, стал вдруг серьезен и задержал
лошадь, не дав ей щипнуть былинку у доро-
ги... Вдоль проселка лежали вывернутые со-
хой березовые саженцы... Только пять-шесть
еще сиротливо стояли, наклонясь и увядая...

Силуян вынул из кармана кисет и, скручи-
вая сигарку из газетной бумаги, сказал как
бы про себя, качая головой:

— Отменили, видно... А ведь что склеки-то
было... Не приведи господи...

— Обрадовались... дураки! — проворчал
Семен Афанасьевич с удовольствием. — Ну,
поезжай, что ли.

— Что это, папочка? — спросила Лена,
удивленная тем, что отец и ямщик говорят об
этой немой сцене, как о чем-то понятном для
обоих. Сама она не умела читать эту огром-
ную книгу с синей далью, с летучими тенями
облаков, с разноцветными лоскутами полей,
по которым там и сям ползали люди и живот-
ные... Крик вороны, щебетанье жаворонка,
шорох берез, медленное движение облаков,
надрывающиеся на пашне лошади, мужики с
потными лицами, в грязных рубахах, земля,

чернеющая следом за сохой, беспомощно падающие деревца — все это сливалось для нее в общий фон, все казалось одинаково на своем месте, навевая только какие-то смутные ощущения, но не мысли...

— Оно, скажем так, ваше благородие, — говорил ямщик, обмусоливая свою сигарку, — оно ведь и дуракам своего-то жалко...

— Что это, папочка? — спросила опять Лена, вглядываясь, как мужик повернул соху и стал удаляться, ведя новую борозду по другому краю полосы. Новое деревцо, уже наклонившееся к земле, попало под железо, судорожно метнулось, задрожало и тихо свалилось на пашню...

— Это... — ответил Семен Афанасьевич на вопрос дочери, — те самые... ну, что в городе говорили: смурыгинские березки.

— Так точно, барышня, — пояснил и ямщик, равнодушно чиркая спичкой по облучку.

Лена с интересом оглянулась на полосу пара. В городе ей надоели разговоры об этих березках, о том, имел или не имел права Смурьгин садить их по дорогам, правильно ли по-

ступило какое-то присутствие, отменив его распоряжение. Теперь все эти отвлеченные разговоры приняли осязательную форму: черная полоса, ряд срезанных березок, фигуры пахарей, с каким-то ожесточением выворачивающих неповинные деревца, и насмешливое злорадство в голосе ямщика.

Лене стало жаль и деревьев, и молодого Смурьгина, которого она видела в последний раз несколько сконфуженным.

— Зачем же они это делают? — спросила она в недоумении.

— А потому, — пояснил уверенно Силуян, собирая вожжи, — что никак невозможно. Выходит — нет такого закону... Закон, значит, милая барышня, на хресьянскую сторону потянул...

Семену Афанасьевичу не понравилось что-то в словах ямщика, и он сказал с непонятым Лене раздражением:

— За-акон! То-оже законы разбирать стали? Вот ты про Аракчеева пел... Он бы вам показал законы.

— Верно! — одобрительно сказал ямщик. — Тот сурьезный был.

— То-то сурьезный!.. С вами, подлецами, иначе и нельзя...

— Ах, папочка! — сказала Лена укоризненно. Ей не нравился этот тон: в Петербурге она никогда не слышала от отца ничего подобного, наоборот, он был истинный джентльмен в обращении с «низшими». Но он легко перенимал, и она подумала с неудовольствием, что он вывез этот тон из города, от этих господ, с которыми вел частые беседы. Конечно, с березками мужики поступают нехорошо. Но ведь это только по невежеству. Им надо растолковать... Вообще там, в Петербурге, она иначе представляла себе будущие отношения к «доброму народу», и тот «местный колорит», который приобрела так скоро речь ее отца, резал ее чуткое ухо.

— Прости, Леночка, но... я не могу говорить об этом спокойно, — сказал Семен Афанасьевич и, понижая голос, прибавил: — Ну, он, конечно, увлекся... Укажи, сделай молодому человеку дружеское замечание... На это есть предводители. Но нельзя же так... ронять авторитет власти... Раз уже сделано...

И, опять повысив голос, явно для ямщика,

он сказал с новым раздражением:

— Зимой сам же б-болван поедет пьяный с базара, в метель... так, по крайней мере, не собьется куда-нибудь в овраг.

— Зимой, ваше благородие, это не ездют, — спокойно ответил Силуян. — Зимой другая у них дорога живет, напрямиком через реку.

Семен Афанасьевич заморгал глазами, как всегда, когда бывал в затруднении, но Лене стало обидно за отца, и она не хотела сдаться.

— Ну, хорошо, — сказала она. — Что же им все-таки помешали деревья? Раз они уж посажены.

— Посадишь, милая барышня! Тут что греха-то было, не приведи бог! Старшин по семи ден каталажил, а старостов этих и не есть числа...

На лице Лены выразилось напряжение, а Силуян, придерживав лошадей, указал на узенькую ленту проселка, казавшегося белой полоской на матовой черноте пара.

— Э-э-вона, — сказал он своим певучим голосом, — во-он куда она, матушка дорожка-те, вдарила во всю тебе степь.

Брови девушки поднялись еще выше...

— Ну, так что же все-таки?..

— Да ведь земли-то, ты подумай, сколько под ее нужно. А ведь она, земля-те, хрестьянину дороже всего. Клади хоть по саженке, да длиннику эвона. Ведь она, дорога, не гляди на нее... встанет, до неба достанет!.. Так-то. Да еще деревина-те в силу взойдет, — опять корнем распялится. Обходи ее сохой!.. Да нешто это мыслимо...

— Папочка? — полувопросом кинула девушка, но отец не ответил.

— Так отчего же они ему не сказали?

— Чего это?

— Да вот, что ты говоришь... Они бы так и сказали Смурьгину...

— Как поди не сказывали! Да вишь, — он все за бороду...

— Папочка!

Старый господин сидел с закрытыми глазами. Лошади немного припустили с горки, тарантас покатился быстрее, и опять за ним увязался клуб белой пыли, в котором толклись овода, и опять потянулась пустота, томление, зной... Старый господин вскоре дей-

ствительно заснул.

— Далеко ли еще, ямщик?
— Верстов еще с десяток будет.

— А дождем нас не промочит?

— Дай-то господи! Солнышко-то, вишь, в хмару садиться хочет... Прогневался господь на православных. Прошлый-те год измаялся народишко, беда! А ноне, гляди, еще хуже будет. Хлеб горит. Вот кабы помиловал господь, — да нет, только дразнит... Ходят тучи, слоняются по небу, а что толку.

Он поглядел кругом и вдруг, сняв шапку, перекрестился.

— Кажись, в нашей стороне пало уж... Умолили, видно... Э-э-вон, гляди, потемнело... В аккурат над Липоваткой придется...

Силуян не заметил, как лицо девушки вспыхнуло и опять побледнело.

— Липоватка?.. там?.. — спросила она. — И ты оттуда?..

— Оттеда... Липоватовские мы, господские были...

Широким жестом он взмахнул кнутовищем, как бы охватывая взмахом весь видимый простор, и сказал:

— В старые-те годы это все — помещичье было. Что видишь поле, что видишь леса и луга, все было ихнее... Бестужевы — в Бестужевке, Кроли — в Анучине, Липоватовы на Липоватке, Егоров на Осиновке, Медигорский в Елховке...

Лена с удивлением оглянулась кругом... Певучий голос ямщика мгновенно населил этот пустой простор целым роем знакомых ей с детства имен. И Кроли, и Анучины, и Медигорские — все это жило в рассказах няни, все эти имена она знала по семейным преданиям, видела их портреты, знала их характеры и семейные отношения. Где же они? На равнине где-то далеко белела усадьба, где-то еще чернела деревенька, казавшаяся просто кучкой темных пятен, синели остатки вырубленных рощ... Было тихо и пусто, но ей казалось, что эта чуткая пустота оживает, что вот сейчас Кроли поедут в Липоватку и Бестужевы в Анучино и встретятся ей на дороге, веселые, оживленные, радостные... Но она протираала

глаза и не могла понять, — где же все это потерялось в этом молчаливом просторе...

— А ты... Елену Степановну знал? — тихо и как-то застенчиво спросила она.

— Это младшего-то барина, Семена Афанасьевича, жену? Помним. Красавица была, царствие небесное... Померла. Давно. Вот уж жалости было, как на деревню ее привезли... Бабы, что есть, голосом голосили...

У Лены на глазах показались слезы. Вот то, чего она ждала, прозвучало наконец в словах простого, доброго человека! У нее на мгновение захватило горло, и только через минуту, справившись с волнением, она спросила застенчиво и тихо, чтобы не разбудить отца:

— Значит, они... хорошие были? И вам было хорошо?..

Ямщик помолчал, ласково погладил кнутом коренника и ответил:

— Господа ничего... что ж господа... известно... Бурмистры вот шибко примучивали!

— При-мучивали? — спросила Лена, пораженная неожиданным выражением.

— И-и, беда! не дай бог, как мучили.

Он слегка повернулся, свободно отпустил

вожжи и задумчиво, как будто не обращаясь к Лене и отдаваясь воспоминаниям, говорил своим выразительным, слегка растроганным голосом:

— Женщина, например, тетка, у меня была, безмужняя, вдова. Муж у ней, значит, помер, скончался. А ребят полна изба. Встанет, бывало, до свету божьего, — где еще зорька не теплится... А летняя-то зоря, сама знаешь, какая! Бьется, бедная, бьется с ребятами, а где же управиться... За другими-те и не поспеет.

— Куда не поспеет? — простодушно спросила Лена.

— А на барщину... Значит, на господ работали... Царь Александр Николаевич уничтожил. Вот хорошо: запоздает она, а уж нарядчик и заприметил... докладывает бурмистру... «Поч-чему такое? А?..» — Да я, ваше степенство, с ребятами. Неуправка у меня... — «Лаадно, с ребятами. Становись. Эй, сюда двое!» И сейчас, милая ты моя барышня, откуль ни возьмись, два нарядчика. И сейчас им, нарядчикам, по палке в руки, по хар-рошей. Дать ей, говорит, десять... или, скажем, двадцать...

— Папочка, — раздался тихий голос, как

будто искавший защиты.

Силуян оглянулся.

— Спит, не трог. Дело старое. Ну, хорошо — дать ей двадцать. Сейчас она, милая моя, стоит; один нарядчик с одной стороны, другой, например, по другую сторону и накладывают ей между спины наотмашь.

Он неторопливо поднял кнут и показал Лене кнутовище.

— Между спины-те рубцы вот в это кнутовище. Ну, ступай теперь, милая, становись в череду, работай, жни.

— Жни? — машинально повторила девушка и беспомощно оглянулась кругом. У дороги опять шептала рожь, и томительная печаль, нависшая над всем этим пейзажем, казалось, получала свой особенный смысл и значение... Эти поля видели это... Лена глубоко и тяжело вздохнула, как человек, который хочет проснуться от начинающегося кошмара.

Ямщик услышал вздох и, повернувшись, поглядел сочувственно на бледное лицо девушки. Ему захотелось ее утешить. А так как он был поэт, то чувствовал, что это в его власти.

— Постой, что я тебе скажу. Терпели православные, верно, что терпели. Так ведь господь-то батюшка, он-то ведь не терпел этой пакости! На немилостивых-те людей у него, барышня моя, есть сделанной ад-тартар...

Он взмахнул рукой, проваливал немилостивца в тартар, но лошади поняли иначе это движение, и пристяжка первая рванулась так нервно, что чуть не оборвала построжки. Тарантас дрогнул, в лицо девушки пахнул поднявшийся ветер, пробежавший над побледневшими полями.

— Гляди, потемнело, — сказал Силуян, — никак в самом деле дождь идти хочет к вечеру. Вишь, и солнца не стало, и все парит, ровно в печи... Ну, мил-лые... иди ровней! Раб-ботай...

Тарантас встряхнулся, заболтал колокольчик, лошадиные спины заскакали живее. Между тем на небе, казалось, действительно что-то надумано. На горизонте все потемнело, солнце низко купалось в тучах, красное, чуть видное, зенит угасал, и туманы взбирались все смелее и выше. Шептали березы, шуршали тощие хлеба, где-то в листве каркала оди-

нокая ворона.

Девушка сидела задумчивая и побледневшая. Она не могла хорошо разобраться в своих ощущениях, но ее неудержимо тянуло к разговору. Силуян, как это тоже часто бывает у поэтов, почувствовал каким-то инстинктом, что он имеет успех: лицо у него стало уверенное и довольное. Он замедлил ход тройки и повернулся опять.

— Прокатил бы я тебя, милая барышня, — место ровное, да папашка-те у нас спит. Вишь, разомлел.

Он как-то оскорбительно фыркнул на спящего. Фигура и голос его показались Лене неприятными и наглыми. Но через короткое время она вспомнила, как была тронута его рассказом о похоронах матери, и ей захотелось вернуть это мелькнувшее впечатление.

— А что же она... тетушка твоя, господам не жаловалась?

Ямщик лукаво покачал головой.

— Да, вишь, они, господа-те, в этаже жили, ВЫСОКО...

— В этаже?

— То-то в этаже. Людишки-те толкуются

внизу, он и не видит... А может, и видит. Хит-рые они тоже, господишки-те.

Он засмеялся, как показалось Лене, довольно противно, в бороду, и покачал головой в скверной шляпенке.

— Хит-рые? — переспросила девушка упавшим голосом.

— Хи-итрые! Что ты думаешь, — ответил Силуян простодушно. Он чувствовал, что овладел слушательницей, и, соответственно с этим, в нем самом выросло вдохновение былинщика...

— Послушай, милая барышня, — заговорил он после короткого молчания. — Я тебе снисходительно расскажу, какое у нас дело вышло... Стало быть, перед волей это было, не в долгих годах, — триденную барщину издела-ли: три дни чтобы на барина работать, три дни на себя, воскресное дело — господу богу. Хошь — молись, хошь — кверху брюхом ле-жи... Вот, милая ты моя, хорошо. Значит, лю-ди по всем местам так по три дня и работают. А нас в Липоватке все по четыре дня гоняют... Гоняют, милая ты моя, да мучат... Бурмистры да нарядчики...дохнуть не дают...

...Говорил я тебе ай нет про Деминых? Два брата были: варвары, тираны, немилостивцы, хррапоидолы! И, стало быть, за тиранство за свое получали от господ всякое удовольствие. Дети на барщину не ходят, да еще по два тягла мужиков на них, на варваров, радели... Помирать аспидам не надо. Ну, и старались. Семен это — который женщину в два кнута тиранил. Другой брат, Василий, тот больше по лошадиному делу докучал. Выгонит зимой или осенью молотить в три часа, да до самого вечера все молотим. Об себе не столь тужили, сколь много лошадьми убивались. Вот возьми соломки ей да тут же и присыплешь. Сейчас увидит нарядчик — к Ваське Демину... Тот тебе двадцать...

...Ну, хорошо. А село наше, знаешь, на большой дороге, на Саровской, идут богомольцы богу молиться, — все мимо нас. Зайдут в поле или на ригу посмотреть, только головами качают. Потому что — странный человек по свету ходит, понимаешь ты, знает всякую штуку. Жалели нас, конечно. Что такое, — в прочих местах, например, один закон, у вас другой. Ну, мол, потерпите. Скоро

этому делу конец видится. А мы, милая барышня, что коняга заморенная, которая, например, из борозды не выходит, не могли верить: пустяки, мол, все, дело это вековечное, и детям терпеть же надо... Ну, только братану моему, Николаю Перцеву, да еще Ивану Егорову и запади те людские речи прямо на сердце. Вот, милая, один раз... выгнали по три дня на барщину, по четвертому гонют, да раным-рано, до солнечного восходу. А братан с Егоровым, как вышли в поле, стали посередь миру и говорят: стой, миряна, никто за работу не берись, смотри, что будет... Ну, мир стал, нарядчики туда-сюда, никто ничем... все сгрудились, стоят в сумерках; и расходиться не расходятся, и работать не работают, — как вот все равно стадо перед грозой... Слышишь, милая, какое дело?

Напоминание было лишне. Девушка слушала с затаенным дыханием, и в ее воображении, под влиянием этого выразительного грудного голоса, рисовалась картина: на таких же широких полях, в темноте, перед рассветом, стоят кучки людей и ждут чего-то. Она еще не знает чего, но чувствует, что ждут

они какой-то правды, которая не имеет ничего общего с миром ее мечтаний...

— Слышу, — ответила она тихо.

— Ну, стоят... Что, мол, будет?.. Как тут стало и солнышко подыматься... Показалось из-за лесу... Все глядят: что же, мол, еще?.. А братан мой, Перцев Николай, да Егоров Иван вышли, покрестились на свет божий и говорят: «Смотрите, мол, миряна: вот солнышко всему хрещеному миру засияло, как, например, прочим селам с деревнями, так и нашей Липоватке... Так ли, мол, миряна?» Ну, все, конечно, говорят: — Так! Это есть справедливо! — «Почему же такое для всех закон триденная барщина, а нас все по-старому гонят». Да как гаркнет вдруг: «Не ходи, миряна, в нашу с Иван Егоровым голову, — не ходи на четырехденку!» Миряна поглядели на солнышко, а уж оно, милое, и вовсе из-за лесу выходит. «Кабыть, говорят, Перцева да Ивана Егорова правда. Всем солнышко божие светит, всем и закон дается». Вот как солнышко-те все выкатилось, мир, знаешь, и качнулся. Не идем на четырехденну барщину. Айда по своим полосам! Нарядчики туда-сюда! «Что вы, миряна,

бунтуете, что бунтуете?» — А то и бунтуем, что нет вам закону! — Ну, сейчас нарядчики к бурмистрам, бурмистры к барину, так и так: Перцев да Егоров народ взбулгачили. «Падать их сюда, па-адлецов эдаких!»

Лена вздрогнула. Дребезжащий, хотя и высокомерный тон, каким была произнесена последняя фраза, не оставлял сомнения, кому принадлежал этот голос, хотя она слышала его только раз, в Петербурге, незадолго до смерти дяди.

— Ну, взяли моего братана с Иваном, скрутили хорошим манером, да на поселение... Вот-те и солнышко! Конечно, стало быть, и пошло у нас по-старому, и не стали мы странников даже и слушать... Только через год ли, два ли приходит от братана письмо. Что же ты думаешь: требует к себе на поселение законную супругу. Это, говорит, у вас Сибирь, а не здесь. Я, говорит, владаю себе, например, землей, сколь вспашу, лес, что вырубил — мое! Коси, куда сама коса пойдет. Посылайте мне, говорит, сюда законную супругу Евдокею, и вот шлю, напримерно, столько-то бумажек. Тут уж что у нас подеялось, и сказать

тебе не могу. Качнулся тут мир опять: не идем да не идем на четырехденку. Всех на царское поселение отправляй, к Перцеву! Ну, уговаривали, молодой барин приезжал, Семен Афанасьевич...

Лена со страхом оглянулась на отца. Он спал, прислонившись к сидению.

— Чудной! — усмехнулся Силуян. — Вышел на крылец, поклонился на все стороны. «Я, говорит, православные, во всякое время, говорит. Я за вас, говорит, и бумагу подписал, а что касающее этого дела, — не могу. Старший брат у меня...» Так ни с чем и отчалил. Ну, да мы все-таки отбились... Вот видишь ты, милая барышня, господь-то чего удумал. Они, значит, так полагали: пропал Перцев, а Перцев-то во! Жену вытребовал... А вот вороги-те наши извелись... Пришла, значит, воля, народу свет открылся, а Демина Семена паралик расшиб, налетной. Все одно — вихорь!.. Другого брата, Василия, который насчет лошадей тиранил, лошади же и прикончили. Пошел с базару пьяный, да вот, никак, здесь же на этой дороге упал, уснул. Народ идет, песни поют, праздничное дело веселое. Кто лежит?

Васька Демин лежит. Не трог, лежит. Ну, приходит вечер. И приходит, милая ты моя, вечер, — откуда тут ни возьмись, вон с пригорочка, с этого — трри трройки! Летят, все одно тот же вихорь. И ведь подумай ты себе: лошадь, она ведь тварь разумная, — человека обегает. А тут, гляди ты, на него пррям-ма! Копытом в голову, рраз! Колесом кованым па мморде. Разбили, раздребе-шили — умчались. Вот смотри же ты, пожалуйста: от лошадей идол сам себе получил дурную смерть на дороге, об вечерней поре. А ночью-те буря, да ветер, да стон тебе, да свист. И-и! Что было. А наутро пошел народ, глядит: лежит Васька, демоны и душу вынули. Стали спрашивать, стали сыскивать, чьи да чьи тройки? И троек таких тыщу верст на примете не бывало. Поняла ты эту причину?.. И семя поганое тоже опять извелось... Н-но, дьяволы!..

Он тряхнул вожжами, но как-то так, что лошади нисколько не прибавили шагу. А сам опять повернулся и, указывая кнутом вдаль, где под лесом белели здания чьей-то усадьбы, сказал:

— Э-вон, Осиновка... Перфильева барина

была когда-то... Ну, немилостивец тоже был... У этого у живого живот лопнул.

Лена встрепенулась. Подавленная печальными видами и мрачными рассказами, она вдруг как бы очнулась от гипноза.

— Про какого Перфильева ты говоришь? Ивана Павловича?

— Верно... Он самый!

— Ну, значит, неправда, — волнуясь, заговорила Лена. — И, значит, все ты неправду говоришь.

— Убей меня бог... Кого хошь спроси...

— И неправда... и не клянись... Я сама Перфильева помню, и ничего этого не было, и умер он просто от тифа... И было это не очень давно...

Лена говорила горячо и с таким убеждением, что Силуян невольно покорился. Он с некоторой досадой подхлестнул пристяжку и потом спросил:

— А где его хоронили, когда вы знаете?

— А хоронили в имении.

— Ну, верно.

Он грустно помолчал и сказал с убеждением:

— Ну, стало быть, у мертвого у него живот расперло, вот как, милая: у мертвого. Это верно!

Лена беспомощно откинулась на подушку. Она была глубоко оскорблена и обижена, и ей хотелось плакать. Она еще не сознавала ясно, что у нее так болит и какие опустошения произошли в стройном мире ее фантазий. Ей казалось только, что она оскорблена за отца, за дядю, за фамильярность, с какой ямщик отсылался о спящем, наконец за ту возмутительную ложь, на которой она его поймала...

И ей показалось, что самая природа насупилась и загрустила еще больше. Черта между землей и небом потемнела, поля лежали синие, затянутые мглой, а белые прежде облака — теперь отделялись от туч какие-то рыжие или опаловые, и на них умирали последние отблески дня, чтобы уступить молчаливой ночи. Они тихо сгущивались, вздымались, громоздились в возрастающем беспорядке и тревоге. Кое-где, как будто в изнеможении, шевельнулись еще столбами последние лучи солнца и угасли, закрытые туманными массами, поднявшимися до самого зе-

нита. Мглистые тучи колебались, меняя очертания, живые, изменчивые, зловещие.

И вдруг откуда-то издали отрывисто и глухо раскатился гром.

Ямщик остановил лошадей, сволок свою шляпенку и перекрестился. Лошади стригли ушами, отдельные тренькания колокольчика боязливо и жалостно тонули в ближней ложине, стая ворон молчаливо пронеслась над березками тракта, и Лена глядела, как черные точки слились с низкою тучей. На побледневшей зелени, на потускневших очертаниях полей лег отпечаток общего испуга и ожидания... Семен Афанасьевич сидел с открытыми глазами, как будто вовсе не спал, но ни Лена, ни ямщик этого не заметили. Тройка опять тронула по дороге. Слепни и овода исчезли. Седок опять закрыл глаза.

В расколыхавшемся воображении Силуяна пробегали образы, на которые пала теперь угрюмая и мрачная тень этого вечера, сменявшего томительный день, и он не хотел упустить из своей власти внимательную слушательницу.

— Ну, хорошо, — сказал он, не поворачива-

сь, — а с-под Илевого заводу барина, Панкратова, слыхали?

Лене было знакомо и это имя. В богатой семейной хронике, которую она заучила от няни, была — правда, на дальнем плане — и эта фигура. Панкратов приходился дальней родней по матери, и Лена слышала о нем от отца и от няни. Хотя няня, тоже поэт в душе, клала на все самые мягкие краски, выделяя лишь светлые образы дорогого ее крепостническому сердцу прошлого, но и в ее передаче эта фигура рисовалась некоторой тенью... Панкратов был когда-то заметным в столице красавцем, из тех, которым, по странной игре судьбы, не везет, несмотря на все внешние шансы, именно у женщин. В Петербурге невеста отказала ему перед самой свадьбой, чтобы выйти потом за самого заурядного фата. Тогда он уехал в деревню и здесь, частью по любви, частью из гордости и мести, женился на крестьянке-красавице, своей крепостной. Через два года она изменила ему с доезжачим... Он хотел убить обоих, но нашел в себе силы простить ее, а доезжачего только отдал в рекруты. Неблагодарная красавица, не выдержав и

года после этого, убежала с ремонтером...[2] Тогда Панкратов возненавидел людей, стал мизантропом и всю свою нежность отдал животным. Перед эмансипацией у него было какое-то бурное столкновение с крестьянами, сущности которого Лена не знала, и администрация прибегала к практиковавшемуся тогда выселению из имения до окончания выкупа. Тогда он совсем оставил Россию и умер старым мизантропом в Ментоне. Лена видела его портрет: лицо, как у мумии, и черные, горящие каким-то особенным блеском глаза. Она прощала ему человеконенавистническое выражение этих глаз. «У него было нежное сердце, оскорбленное людьми, — говорила она, — и он много страдал».

— Он очень любил животных, — сказала она на вопрос ямщика.

— Вот, вот. Удивительное дело: животную тварь любил, а людей тиранил.

— Люди сделали ему много зла, — сказала Лена мягко.

— Люди? Нет, люди ничего. Жена сбежала, это верно. Крестьянку взял, крепостную, а она, значит, с офицером укатила. Правда, с

этих пор озверел. «Я, говорит, ее из низкости вывел... Когда так, говорит, то я всему ее племю себя покажу. Хуже собак мне мужики теперь...» Ну и верно, что хуже собак сделал. Псарню построил вроде господского дома. И которые были у него самые любимые десять сук, и принесут, напримерно, щенят, и сейчас он раздает их по крепостным женщинам. Которая, понимаешь, принесла ребеночка и имеет в грудях молоко, — сейчас ей собачары приносят щененка, стало быть, для воспитания...

— Неправда! — вскрикнула Лена, точно ужаленная.

— Убей меня бог, — равнодушно вставил ямщик и опять обратился к рассказу. — Ты вот послушай, что дальше-то, как господь батюшка распорядился: через этого человека всем православным воля вышла... Вот был у этого барина крепостной человек на оброке, Алексеем звали. Уж вот был мужик разумный, да красивый, да удачливый, просто по всей вотчине молодец первейший. И имел у себя молодую жену. Он-то красив да пригож, а сна и того лучше, — поищи этаких двух по

всему свету белому, ан и не сыщешь. Имуществом тоже бог не обидел: из хороших семей оба, достаточные. Ну, только имел этот Алексей в себе маленичко гордость. Вот приходит ему, Алексею, в дальний извоз итить, а жена у него остается на сносях. Делать нечего. Идет он с извозом, знаешь, по степе. Идут, ночное дело, возы скрипят, обозчики, разный народ, со всех, может, мест, рядом идут да промежду себя разговор ведут. Известно, — дело дорожное, как и мы вот сейчас: где какие, например, народы проживают, где какой обиход, ну и все такое прочее. А он, Алексей, идет с возами, все молчит, что туча. Вот у него другие и спрашивают: «Ты это что же, молодец, в товарищах идешь, а с нами, товарищами, разговаривать не хочешь? Аль сам об себе высоко понимаешь, а нами брезгуешь?..» — «Нет, говорит, товарищи милые, сам я об себе не высоко понимаю и вами, товарищами, не брезгую. А то я, говорит, невесел по степе иду, что дома жену оставил, а помещик у нас больно лют. Бьют, колотят, только душу не вынимают. Ну, да это все ничего, до меня бы не касающееся, а что вот завел дурную моду — ще-

нят женскими грудями воспитывать». Вот и стали те люди, по степе идучи, то дело обсуживать. А в степе-то, знаешь, все вольные люди: который у себя дома, может, и крепостной, и тот в степе вольным казаком объявляется. Попадается, конечно, и служивый народ, отставные солдаты. Вот и говорят те люди Алексею: «Дураки, видно, в вашей деревне живут. Этого и закону-то, покуль свет стоит, не бывало, чтобы животную тварь женским молоком воспитывать. Этого и господь не может терпеть, так может ли барский закон стать выше божьего?»

Вот и запади опять те речи Алексею. Идет с обозом, дорога под ним горит, а сам все думает: нет закону, да и нет закону! Хорошо! Приезжает, ночное дело, домой, жена его не встречает, огня не вздувает, темно в избе, как в могиле. Входит в избу, младенец у него в зыбке плачет, а в углу щеняты скулят. — Эт-то что такое? — «А это, — жена говорит, — сына бог дал». — А в углу что? — «А в углу щеняты, сам понимаешь...» — Ты-то понимаешь ли сама! Я этого терпеть не могу! Давай собачат сюда! — взял одного в руку, другого в другую,

примял, да опять положил на место. — Ну, говорит, молись богу за свой грех великий да бери младенца. Вишь, он у тебя в зыбке кричит.

А наутро нарядчики приходят, собачары: «Анна, — показывай щенят, здоровы ли они у тебя!» — Да они, мол, с чегой-то поколели. — «Как, оба?» — Оба, мол, и поколели. — «Что за причина? Ну, дело не наше, барину доложим». А тут Алексей в избу входит: «Что вам надо? Зачем пришли? Где закон? Ребенок в зыбке кричи, а щенята у женщины груди сосут. Прочь из избы, чтобы мне вас, собачаров, и не видать!» — А ты, Алексей, — собачар ему говорит, — больно-то не кричи. Не от себя пришли, барину доложим. — Ну, конечно, пошли, господину и обсказали. Что же ты думаешь: велит он сейчас тех щенят на холсты положить, как упокойников. Принесли их на холстах — ощупал. «Убиты, говорит, злодеем твари невинные». И заплакал. Потом позвал собачьих поваров, велит для псарни овсянку готовить покруче. Все, бывало, так: овсянку готовили для всей псарни, ведер на сорок и более: овсянку сготовят, станут собак кор-

мить, а он тут же в стулу сидит, смотрит, да из своих рук подкармливает. Вот и на тот раз, сел у котла, щенят на холстах рядом положил. «Позвать Алексея!» Пришел Алексей. «Видишь, говорит, невинно убиенных?» — Вижу, мол. Да что ж, барин, на человека и то причина бывает, не то что на тварь животную. — «Ты им конец сделал, варвар?» — Я им конца не делал, а что вот вы не по закону поступаете. Ребенок, хоть и мужицкое дите, все у бога человеческая душа считается. И должен он в зыбке лежать, а вы у бабы груди псиной пакостите... Передохни они все у вас. И то народ глуп: всех бы передавить надо! — Как он эти слова скачал... снялся, милая ты моя, барин Панкратов со стула...

Он повернулся весь на козлах и впился своими глубокими глазами в испуганные глаза девушки... Она чувствовала какой-то надвигающийся ужас и хотела бы защититься от него, но была бессильна...

— Снялся он со стула, да ка-ак толкнет этого Алексея в грудь... Упал тот навзничь, да прямо... голубушка ты моя! Барышня милая! Прямо головой-те... в котел...

— Ну? — вся вздрогнув, спросила Лена.

— Да что! Пикнуть не успел... Кинулись собачары, вытащили... весь обварился... Пошел по собачарам шум, пошла по дворне булга. А один собачар тому Алексею брат был... Кинулся в хоромы, схватил ружье... Барин к дворне, а уж дворня, понимаешь, волками смотрит. Вскипело холопье сердце...

— Папочка! — слышался надтреснутый, слабый голос Лены. Семен Афанасьевич очнулся и с удивлением взглянул на дочь.

— Папа, — со слезами в голосе заговорила девушка, — ведь он, Панкратов, в Ментоне умер? Ведь это... ведь это все неправда... Вот он говорит: убили его... и он сам...

Семен Афанасьевич вдруг накинулся на ямщика:

— Что ты тут наболтал, па-адлец! Вот погоди, вот я тебе покажу болтовню. Поезжай скорей, ска-атина!

Ямщик, удивленный неожиданным оборотом дела, подобрал вожжи, и опять левая пристяжка первая почувствовала на себе перемену в его настроении.

Тарантас задрезжал и быстро покатился

по потемневшему тракту. Колокольчик за-
лился не на шутку, пристяжки изогнули голо-
вы, как змейки, березки убегали назад одна за
другой, а между ветвей виднелись по сторо-
нам те же поля, те же тучи... Кой-где в сумер-
ках зажигались дальние огоньки...

Лена ничего не думала. Отец видел только
ее бледное лицо и большие глаза...

VII

К станции они подкатили во всю мочь. Ямщик в эти полчаса обдумал все происшедшее и теперь старался угодить разгневанному барину. «Видишь, вот угодить хотел, а она и нажалуйся», — с горечью думал он про Лену. Со стуком и звоном тарантас подлетел к полосатому столбу, на котором висел зажженный фонарь, и лихо остановился на всем скаку.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, — сказал Силуян подобострастно, соскочив с козел.

Станция была освещена, а окна открыты. В окна виднелся самовар, какой-то военный наделал шинель и собирался: у крыльца его ждала тройка.

Лена прошла сначала в комнату хозяйки. Когда она вошла с красными глазами в станционную комнату, ей прежде всего бросилась невзрачная фигура мужика, стоявшего у порога. Он был низок ростом, с короткими кривыми ногами, в старом армячишке. Он в за-

мешательстве отряхал от пыли свою шляпенку и переминался с ноги на ногу. Семен Афанасьевич нервно ходил по комнате, а военный господин сурово молчал, укоризненно глядя на мужика. При входе Лены военный поднялся с места и бойко щелкнул шпорами. Это был бравый мужчина, с густыми, торчащими волосами и прекрасными баками, искусно разделенными на две части. Он еще раз разгладил их обеими руками и, держа пальцами концы бакенов, низко поклонился:

— Честь имею представиться. Исправник Полежаев. Очень сожалею, что этот каналья ямщик доставил вам огорчение, хотя признаюсь... не знаю, чем могу... Власть Семена Афанасьевича... тут роль исправника прекращается... Если могу так выразиться...

Лена с удивлением посмотрела на него, потом на мужика у порога. Неужели это он, этот ничтожный мужичонка, довел ее чуть не до кошмара, неужели это у него такой выразительный, сильный, могучий голос... И эти мрачные рассказы... неужели тоже его?

— Ах нет, ничего, — застенчиво и торопливо заговорила она, поняв сразу смысл этой

сцены. — Папочка, ради бога... Не надо, не надо...

Исправник окинул ее умным взглядом. Он вообще довольно холодно встретил нового «начальника» и держался сдержанно. Поэтому он воспользовался настроением Лены.

— Ваше желание — закон... А ты, сказочник, пошел вон, да смотри у меня в другой раз!.. Теперь позвольте вас оставить, меня ожидает тут важное дело... Имею честь откланяться.

Через минуту Лена смотрела в открытое окно, как исправник уселся, причем какая-то темная небольшая фигура противно суетилась около тарантаса. Лошади взяли с места, и тарантас покатился между рядами берез в том направлении, откуда только что приехали наши путники. Скоро он превратился в темную точку, и только меланхолический звон колокольчика как будто перекликался все, подавая голос издали, из темноты, на освещенную станцию.

А в вышине все ходили тучи, в темноте пробравшиеся кверху и занявшие все небо... Но дождя все не было, чувствовалось только

медленное передвижение, тревожная суета и все то же бессилие. Порой только вспыхивала синеватая зарница, падая на уходящую вдаль дорогу с рядами бледных берез. Одна из таких зарниц осветила невдалеке старый запущенный сад, густая зелень которого будто грезила о чем-то в тишине этого загадочного вечера, в виду надвигающейся грозы. Над зеленью возвышался только мезонин старого, оброшенного дома. Короткая вспышка еще раз осветила провалившуюся крышу, изломанную решетку балкона и открытую, может быть, давно сорванную с петель дверь мезонина.

Лена отчего-то вдруг вздрогнула и отвернулась. Подойдя к отцу, она обняла его и припала головой ему на плечо.

— Папа! Папочка! Ничего нет... ничего, ничего этого нет.

— Ты устала, Лена.

Семен Афанасьевич глядел растерянно и печально.

Хозяйка внесла свежий самовар и закрыла окно.

Примечания

1

Строки из поэмы М.Ю.Лермонтова «Хаджи-Абрек».

[^^^]

Ремонтёры — офицеры, занимающиеся покупкой лошадей для комплектования кавалерии.

[^^^]